

ЗИНАИДА ГИППИУС

ЛЮДИ –
БРАТЬЯ

Зинаида Гиппиус

Люди – братья

«Public Domain»

1894

Гиппиус З. Н.

Люди – братья / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1894

«Осенью мачеха объявила, что я поступаю в пансион г-жи Ролль. Я всегда училась дома, к шестнадцати годам знала приблизительно то же, что знают все барышни моего возраста, но долговязый дядя Эдя, брат покойного отца, внушил мачехе, что я должна иметь диплом. Дядя Эдя приезжал к нам в Москву редко, притворялся дельцом и во всем решительно знатоком, меня терпеть не мог, а мачеха его уважала и слушалась. Каждый раз после отъезда дяди она становилась строгой, хотя и ненадолго...»

Содержание

I	5
II	7
III	8
IV	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Зинаида Гиппиус

Люди – братья

Так ли, сын мой, ты говоришь с отцом твоим, которому ты должен быть вечно благодарен, ибо он есть виновник дней твоих?..
(Из одного старинного романа)

Sois malheureux – et tu seras seul.
A. de Musset (*Confession*)¹

I

Осенью мачеха объявила, что я поступаю в пансион г-жи Ролль.

Я всегда училась дома, к шестнадцати годам знала приблизительно то же, что знают все барышни моего возраста, но долговязый дядя Эдя, брат покойного отца, внушил мачехе, что я должна иметь диплом. Дядя Эдя приезжал к нам в Москву редко, притворялся дельцом и во всем решительно знатоком, меня терпеть не мог, а мачеха его уважала и слушалась. Каждый раз после отъезда дяди она становилась строгой, хотя и ненадолго.

Насчет пансиона мачеха выказала необычайную твердость. Напрасно я рыдала и повторяла, что, конечно, я не родная дочь, мамаша не может любить меня, и напрасно она лицемерит. Мачеха сама плакала горькими слезами, клялась, что любит меня больше собственного пятилетнего сына, – и это была правда; однако, на этот раз капризов моих не уважили и в пансион г-жи Ролль меня определили. Там в несколько месяцев приготавливали к экзамену на домашнюю учительницу.

Все мои подруги, «семиклассницы», да и вообще все воспитанницы казались мне противными и безобразными, хотя я им улыбалась и почти заискивала перед ними от непривычки и от страху, – я всегда слышала, что над новенькими смеются. Вставать рано и спешить в пансион во всякую погоду тоже казалось мне ужасным.

Пансион г-жи Ролль имел странную особенность: в нем не было помещения для седьмого класса и мы кочевали со своими учителями, учительницами и тетрадами из столовой в гостиную, из гостиной в приемную, занимались даже в спальне г-жи Ролль. Рядом со спальней была комната взрослого сына начальницы, красивого офицера, как говорили видевшие его воспитанницы.

В достопамятный третий день моего пансионского ученья мы сидели в шестом – младшем – классе. Мутное небо серело, в окнах по стеклам сбегали дождевые капли. Я пришла поздно, когда урок уже начался, сердито пробралась на свое место и села. Рядом со мной была дочка священника, Машенька Фивейская, болтливая и толстая, с необычайно густым, сизым румянцем на крепких щеках. Она с готовностью повторяла мне фамилии, имена, рассказывала даже, у кого какое состояние и где служит отец.

При этом, конечно, она половину выдумывала, из усердия, но выдумывала так наивно, что ложь у ней всегда можно было отличить от правды.

Она шептала мне за уроком, что жидовка Вейденгаммер хвастается собачьей шапочкой, а экзамена не выдержит; ее все зовут Вейденгаммерская, а она обижается, потому что окончание дурно звучит.

– А посмотрите, Леля Дэй так затянулась, что едва дышит... На щеках красные пятна... Воображает себя хорошенькой... Учителя в нее влюбляются, это правда, но ведь она им глазки строит.

Урок давала Наталья Сергеевна, учительница геометрии. Урок был наш, а шестиклассницы приглашались сидеть смиренно, если не желали слушать.

Фивейская объяснила мне, что Наталья Сергеевна безнадежно влюблена в сына г-жи Ролль и дает уроки почти даром. Наталья Сергеевна была высока, худа, с красивым лицом, еще молодая, но такая унылая, вялая, даже зловещая, что тоска брала при одном взгляде на нее.

Наталья Сергеевна сказала коротконогой ученице, которая бойко писала мелом:

– Довольно! Кузьмина, продолжайте!

Сзади меня послышался шорох и с дальней парты к доске вышла или, скорее, выскочила ученица Кузьмина. Я ее видела в первый раз. При мне она в пансион не приходила.

II

Кузьмина стояла ко мне спиной. Она была невысокого роста, хорошо сложена, в сером платье. За плечами перекрещивались бретельки черного передника. Темные волосы лежали на самой маковке, закрученные в небольшой шиньон. Я смотрела с равнодушным любопытством, но вдруг замерла от удивления и неожиданности, когда девушка обернулась.

Лицо ее оказалось поразительно некрасивым. Рот был довольно приятен, глаза черные, навывкате, кругловатые, но крошечный, приплюснутый, бесформенный нос безобразил это лицо выше всякой меры.

Однако уродство Кузьминой не внушало отвращения, а скорее жалость.

Я обратилась к моей Фивейской:

– Что это? Кто эта Кузьмина? Отчего она такая безобразная?

Фивейская ответила мне шепотом:

– Вы удивляетесь? А мы к ней привыкли... Знаете, она в третьем классе еще хорошенькая была, очень недуренькая... Только больная, у ней золотуха сильная... Не лечили, запустили, пришлось операцию делать... Мы ее после больницы и не узнали... Такое уж несчастье...

– И что же, и начальница заметила?

– Еще бы! Она ее не хотела и принимать, пока ей не дали свидетельств от семи докторов, что золотуха не заразительна, да к тому же у Кузьминой и совершенно прошла.

– Ну, а сама Кузьмина? Сколько ей лет было, когда с ней это случилось?

– Четырнадцать, кажется. Теперь ей восемнадцать.

– И что же она? Горевала, плакала?

– Кузьмина-то будет плакать? Как же! А и заплачет, так сейчас же утешится. Такой уж характер. Особенно некрасивой она себя не считает, привыкла... Вот вы увидите, она веселая, Анюта Кузьмина.

Хотя разговор наш велся шепотом, однако Наталья Сергеевна его услышала и, для прекращения беспорядка, мрачным голосом вызвала меня к доске помогать Кузьминой.

– Здравствуйте, – сказала Кузьмина тихонько, когда я была с нею рядом. – Мы еще с вами незнакомы. Давайте решать задачу.

Она улыбнулась, показав ряд блестящих, тесных зубов. На щеках и на подбородке у нее были ямки. Круглые глаза смотрели весело и доверчиво.

«Правду говорила Фивейская, – подумала я, – наверное, эта Анюта была хорошенькая и к ней можно привыкнуть».

III

По пятницам, от часу до трех, мы оказывались в самом грустном положении: уйти домой было нельзя – в три начинался урок истории, во всех классах сидели учителя, в приемную нас одних не пускали и заниматься было решительно нечем.

В одну из таких несчастных пятниц мы приютились в коридоре на окне и разговаривали вполголоса.

Анюта Кузьмина в своем сереньком платьице была тут же, что-то бессвязно рассказывала и смеялась так громко, что мы ее унимали.

– Послушайте, mesdames, – сказала, краснея, миловидная Леля Дэй. – Нам скучно, времени много. Давайте зайдем на минутку в комнату Петра Павловича?

Петр Павлович был красивый офицер, сын начальницы. Мы в ужасе посмотрели на Дэй. Она продолжала;

– Никого нет, я знаю. Горничная Катя мне говорила, что у него в комнате красиво. Ковры, оружие... портреты разных актрис... Пойдемте, а?

– Нет, извините, я не пойду, – надменно отозвалась Вейденгаммер. – Я не маленькая. Это непозволительная вещь для молодой девушки.

– Ну и сиди, Вейденгаммерская, молодая девушка! – закричала, вся вспыхнув, Анюта Кузьмина. – А мы пойдем! Вставайте же, mesdames!

Она расширила свои круглые глаза и теребила меня и Дэй. Дэй, впрочем, довольно бесцеремонно отстранила ее.

– Я ведь, кажется, просила вас, Кузьмина, так за меня не хвататься. Я не люблю. И чего вы? Без вас пойдут.

Кузьмина обращалась с подругами бесцеремонно и дружественно и, кажется, совсем не замечала, что в их отношении было что-то брезгливое, хотя и фамильярное.

Дэй не ошиблась, сказав, что мы пойдем. Мы не устояли против соблазна увидеть актрис и оружие и на цыпочках пробрались к таинственной комнате через спальню m-me Ролль. Другого хода мы не знали.

Вейденгаммер, подняв нос, осталась в коридоре.

Дверь была не заперта. Мы вошли в большую квадратную комнату, сплошь устланную ковром. На стенах действительно висели кривые ржавые сабли, а над низкой оттоманкой я увидела портрет офицера с крутыми усами – вероятно, самого хозяина – и картинку, изображающую раздетую женщину. В комнате стоял крепкий и приятный запах хороших сигар.

Дэй вытащила откуда-то альбом, и мы столпились у стола, как вдруг за стеной послышался шум. M-me Ролль пришла к себе, и путь был нам отрезан.

Сначала мы думали, что она уйдет. Но мы услышали, как она велела горничной подкатить к окну кресло, опустила в него своим грузным телом и, вздыхая, принялась раскладывать пасьянс.

– Mesdames, вот другая дверь, – прошептала курчавая Линева. – Я посмотрю, нет ли выхода в коридор.

Она прокралась туда, но через минуту воротилась и с отчаянием объявила, что там спальня, а за спальней маленькая передняя и отдельный выход на улицу.

К довершению несчастья, маленькие звонкие часы на письменном столе пробили три. Учитель истории нас ждал.

А сквозь плохо притворенную дверь безнадежно слышалось щелканье карт и шорох шелкового платья начальницы.

Вдруг кто-то постучался, потом вошел в комнату m-me Ролль. Мы явственно услышали звон шпор. Офицер вернулся.

Он говорил о чем-то с матерью. Сколько минут прошло, мы не заметили. Мы ждали.

И действительно офицер очутился на пороге комнаты. Он с изумлением глядел на пансионеров, похожих на стадо глупых, испуганных овец.

– Как! У меня гости? – сказал он, усмехаясь. – Маман! Взгляните, какое здесь милое общество!

Я не думаю, чтобы офицер желал нам зла. Он просто не знал, как велик наш проступок и какая великая кара нас ожидает.

М-ме Ролль с одного взгляда поняла дело.

– Будьте добры, – произнесла она, – пойдите в мой кабинет. Я сейчас приду.

Мы гуськом двинулись вон мимо улыбающегося офицера. Я шла последняя и видела, как он особенно учтиво поклонился розовой Леле Дэй, а когда мимо шла Кузьмина, он отвернулся и перестал улыбаться.

В кабинете мы целые полчаса слушали грозную речь начальницы. Объяснив, что в продолжение недели мы каждый день остаемся до шести часов и что это наказание еще слишком легкое за наш неприличный поступок, м-ме Ролль вдруг совершенно неожиданно набросилась на Кузьмину:

– Это вы все затеяли, я не сомневаюсь! Вы первая выдумываете гадкие шалости, вы самая дурная девушка во всем пансионе! Давно бы вас следовало исключить! Не беспокойтесь, я сегодня же напишу вашей тетеньке, как вы себя ведете! Ступайте все теперь, а с вами, голубушка, я еще поговорю!

Леля Дэй молча кусала губы. Кузьмина тоже молчала, но когда мы все, пристыженные, вышли в коридор, она вдруг заревела, – прямо заревела, а не заплакала, – и бросилась па то самое окно, где мы сидели раньше. Теперь там никого не было. Вейденгаммер занималась в зале с учителем истории.

Я остановила в дверях Лелю Дэй.

– Послушайте, почему вы не сказали, что это не Кузьмина затеяла идти?

– А вам что за дело? Да и как не она? Ведь она же всех тянула и визжала? А теперь ревет. Отправляйтесь утешать ее.

И Дэй захлопнула дверь.

Я действительно пошла к Кузьминой, забыв урок истории. Не то, чтоб я жалела Анюту, но меня интересовало общее отношение к ней и то, что я сама начинала говорить с нею, как другие, полупрезрительно, а причины этому не знала.

Анюта лежала грудью на окне и продолжала плакать.

Я постояла некоторое время молча, потом сказала:

– Перестаньте, Кузьмина. Чего вы плачете? Ведь мы все наказаны.

Кузьмина подняла голову и взглянула на меня своими широкими заплаканными глазами.

– А зачем она... – голос ее прервался, – зачем она так на меня... орала?.. Все были... а она на меня бросилась... И всегда, и всегда на меня... У всех я самая виноватая.

Я села рядом с Кузьминой, на окно, и принялась утешать ее. Она почти не слушала меня, а через минуту уже смеялась, рассказывала мне какие-то пустяки. Но когда я хотела уйти, она вдруг сжала мою руку своими маленькими ручками и сказала:

– Оставайтесь со мной. Вы мне ужасно понравились. Хотите, будем на «ты»?

И Анюта глядела на меня пристально, мигая круглыми глазами. В эту минуту я подумала: «Как ее глаза похожи на птичьи! И вся она какая-то утка. Утки так мигают, часто-часто... И ходить она с перевальцем – совершенная утка-Смешная и бедная».

В первый раз мне стало искренне жаль Анюту. Я подала ей руку и сказала:

– Ну, хорошо. Будем на «ты».

IV

В одном из московских переулков, недалеко от Успения на Могильцах, был серый деревянный домик. Он очень походил на все домики в переулках: такой же длинный, немного покосившийся на один бок; сверху стоял мезонин колпачком, в три маленьких окошка, и, как большинство других домиков, он граничил на обе стороны с дощатыми заборами садов. Из-за заборов наклоняли свои ветки прозрачные березы и другие деревья. Над подъездом был сделан железный навес, на углах которого торчали две узенькие водосточные трубы, устроенные в виде драконов с разинутыми ртами. Железо заржавело, а маленькие желтые драконы смотрели совсем беспомощными старичками.

На двери висела старая металлическая дощечка. Чернота букв кое-где стерлась, но все-таки можно было прочесть:

«Акушерка
Марья Платоновна Тэш».

Марья Платоновна занимала весь дом, да он внутри оказывался и не очень большим: четыре комнаты внизу да две в мезонине, где жила бабушка, седая старушка в белом чепчике с длинным, неприветливым лицом. За детьми ходили няни, которые постоянно менялись, потому что жалованье им казалось недостаточным.

Дети звали Марью Платоновну Машей, старушку в чепце – бабушкой; им было известно, что они не все родные между собой, что родители их живут далеко, но что, тем не менее, они должны любить и уважать их и всячески эту любовь выказывать, когда приезжают папаша или мамаша. Впрочем, приезжали они только к Ване и Анюте, которые были родные брат и сестра. Надя же раз только видела свою тетю, а потом ей сказали, что она должна быть очень послушной, потому что ее родители умерли. Надю это известие не особенно огорчило: она была бабушкина любимица и бабушка постоянно держала ее при себе, не позволила отдать никуда учиться и кормила имбирными лепешками.

Анюта и Ваня с молчаливою завистью глядели на эти лепешки. Марья Платоновна, или Маша, как они ее называли, не давала им лепешек. Марья Платоновна была бездетная вдова и жила с достатком. Практика у нее случалась довольно частая. Вся фигура Марьи Платоновны была полна достоинства, даже важности. Широкая, еще молодая, с белым приятным лицом, она, казалось, такую родилась, такую умрет и никогда не состарится. Глаза у Марьи Платоновны были светло-серые, выпуклые и незлые. На голове она носила черную кружевную косынку и сильно хромала: она еще в детстве вывихнула ногу и ее не выправили.

Для Вани и Анюты было очень обычно, что папаша с мамашей приезжают из своего имения в Польше, целуют их, дарят неинтересные игрушки и уезжают, и опять все по-прежнему. Ваня один раз принялся расспрашивать Марью Платоновну, где имение папы и мамы и отчего они не живут дома, но Марья Платоновна сухо объяснила ему, что детям в деревне жить нельзя, потому что нужно учиться и скоро его отдадут в гимназию.

Анюте было восемь лет, когда она в первый раз увидела мамашу. Она приехала одна, сказала, что папаша будет вечером, плакала, целовала Ваню и Анюту, попросила у Марьи Платоновны кофе и сняла шляпку. Анюте мамаша показалась огромной, высокой, почти до потолка, очень толстой и очень белой, несмотря на черные, как деготь, волосы. Анюту заняло, что у мамы оказалось два подбородка, одинаково белых и круглых, а на руках, около колец с зелеными камнями, было много хорошеньких ямочек.

Мамашино черное платье с пышным шлейфом все блестело от стеклярусных кружев, но блестело так скромно и так кстати, что когда мамаша сказала Марье Платоновне, утирая

заплаканные глаза: «Я уж старуха, я всегда в черном», – стеклярус не показался странным, а, напротив, придавал мамашиним словам много достоинства.

За кофеем мамаша несколько раз принималась плакать, сообщила, что приехала очень ненадолго, но что теперь они станут навещать «деточек» часто, раз в год по крайней мере. Нужно будет приезжать в Москву по делам.

Узнав, что Аня хворает, мамаша взволновалась, но сейчас же успокоилась и вполне разделила мнение бабушки, что домашние средства лучше всяких докторов.

Вечером приехал папаша. Аня, помня наставления Марьи Платоновны, бросилась к нему на шею, за ней бросился и Ваня. Папаша оказался маленьким, сохлым и довольно пожилым. Он привез много конфет, говорил мало, сидел в углу дивана и все ежился да пожимался. Мама при нем стала рассуждать тише и робче, и, хотя она была большая, а он очень маленький, все сейчас же видели, что не он ее, а она его боится.

Потом папаша и мамаша уехали, обещая скоро вернуться. Они сделали и надлежащие распоряжения. Согласно этим распоряжениям Марья Платоновна определила Ваню живущим в частную гимназию, а Аня стала ходить в пансион г-жи Ролль. Кроме того, каждый день ее поили домашним декоктом, целительные свойства которого были испытаны.

Во время Аняной болезни мамаша прислала две телеграммы, а увидев Аню в доме после ее выздоровления, мамаша плакала сильнее обыкновенного и подарила Ане хорошенький бархатный альбом для стихов и еще другие вещицы. В последний раз папаша и мамаша приезжали весной, когда Аня переходила в седьмой класс. Они подарили ей серебряные часики, и Аня любила их вынимать в пансионе. Показывала и мне их раз десять. Вообще она охотно говорила со мной о себе, о своих домашних и семье. Сначала я изумлялась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.